

## РАСКАЗЫ

### ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА

Мне исполнилось четырнадцать, когда я впервые поехал на археологические раскопки. Тем летом мой родной дед по матери, профессор археологии Павел Георгиевич Шептунов, руководил работами на месте древнего поселения в южной части страны, у моря. Он пригласил меня на летние каникулы в качестве практиканта. Размеры поселения не были еще определены, но некоторые мелкие находки уже точно можно было датировать четвертым или пятым веками до нашей эры.

Про деда мне тогда было известно совсем мало. Во мне его ученая деятельность вызывала глубокий трепет. Он в отношении ко мне выказывал вежливо-ироничное любопытство. Хотя мы жили в одном городе, виделись нечасто. Стесняясь простого «дедушка» и робея перед панибратским «дед», я всю жизнь обращался к нему по имени-отчеству.

Сolidности Павлу Георгиевичу добавляла жесткая, как щетина, седая борода, которая топорщилась ежом, когда дед смеялся. Глаза профессора не знали очков. Он носил тупоносые ботинки на шнуровке, джинсы и клетчатые рубашки, в холодное время года — простое болоньевое пальто. Со стороны нас с ним можно было принять за отца с сыном. Мой настоящий отец, дедов зять, гладко брил подбородок, носил костюмы и имел уже обозначившийся «пивной» живот. Он казался старше тестя.

С Павлом Георгиевичем я встречался на семейных праздниках. Порой не видел его годами. Той зимой он пришел неожиданно (я был дома), сияющий, будто включенный в старом сарае светильник. Страхнул мне в лицо бисер растаявшего снега, бегло пожал мои худые пальцы, крепко — отцову руку, с матерью обнялся, застыв, слившись с нею, на добрые полминуты. Он остался на ужин. Потом на чай. Он болтал без умолку, и меня не прогоняли из кухни в постель, потому что был выходной день и вся семья заворожено его слушала. Отец вставлял реплики, мама теребила прядь волос. Я сидел в углу, далеко от стола.

— Исследованию больше века! Но оно было заморожено, — рассказывал он. — Увязло в Советах. Там сложности какие-то были еще до революции, но после тридцатых проект официально закрыли. И что вы думаете? — тут дед шурился, борода его довольно топорщилась. — Всего-то и нужно стало — денег! Но разве у государства есть деньги? А? Нет. Зато они теперь есть у НИИ!

Павел Георгиевич победно откинулся на спинку стула и с артистическим аристократизмом отхлебнул из фарфоровой чашки. О, эти чашки! Я разбил одну давным-давно, и мама до сих пор мне — одному из всех — не подавала из этого набора.

---

Татьяна Павловна Скрундзь родилась в 1982 году в Липецке. Окончила Липецкий технический университет и Литературный институт им. Горького. Работала фотографом, дизайнером, водителем такси, журналистом. Стихи и проза публиковались в журналах «Урал», «Октябрь», «Юность», «Новая Юность», «Нева» и др. Автор поэтической книги «Се человек» (Водолей, 2016). Живет в Липецке и Санкт-Петербурге.

— Все интересы в мире теперь связаны с деньгами, — ворчал отец.

— Только личные, только личные, — отвечал дед. — Интересы выше личного бесценны.

— Кому-то просто понадобилась эта земля, — говорил он. — Что не может не быть забавным — под курортный комплекс. И такие люди готовы финансировать проект. Но они же ничего не понимают!

— Не изучив вопрос, не взялись бы, наверное, — ворчал отец.

— Там почти километр вдоль побережья, — объяснял дед. — Дело в юридической справедливости. Из земли нужно извлечь все ценное, чтобы она стала объектом экономической категории. Но я не уверен, что извлечь то, что мы найдем, будет возможно! — тут он возвышал голос на пару тонов. — Совсем не уверен.

Он говорил об этом так, будто сообщал о зарождении новой вселенной. Я невольно залюбовался им, так заразительно азартен он выглядел в ту минуту.

Весной Павел Георгиевич полетел на юг. Я присоединился к нему с началом каникул. Дед сам встретил меня в аэропорту и сопроводил в лагерь. Раскопки велись недалеко от моря. Меня пристроили к группе школьников из столицы региона. В состав группы входило почти тридцать человек, большинство были моими ровесниками. Четверо инструкторов руководили нами, кажется, эти тоже были столичными.

Волонтеры и практиканты жили в палатках. Мне не хотелось к ним, я никого там не знал. Они тоже прибыли недавно, держались особняком и, видно, только осваивались. В первый свой вечер я видел костер у палаток и слышал гитару. Но общение не показалось мне оживленным. К моей радости, Павел Георгиевич предложил жить с ним в вагончике-бытовке, отдельно от остальных.

С ребятами я встречался днем за работой или в кухонной палатке на раздаче обеда. Каши, пловы, супы и макароны с настоящей тушенкой были нашими блюдами. А еще компоты, сдобные булочки, испеченные лично поваром Натальей, крупной сильной женщиной сорока восьми лет. Хлеб она тоже пекла сама. И еще умела делать необыкновенный соленый чай из трав и молока. К чаю полагались пресные крекеры.

Работы занимали у группы три часа до полудня и три после, но график был не строг. Отлынивать не было нужды, всем было интересно, к тому же мы часто устраивали долгие сиесты с походом на море. Впрочем, я чаще ходил один, утром и вечером. Или занимался чтением где-нибудь в тени.

Все работы заканчивались с заходом солнца, который наступал здесь довольно рано. Звезд над лагерем высыпало немерено. Воздух пропитывался запахом костров, жаренного на огне хлеба, сигарет, тайком раскуренных в темноте. Иногда я с завистью глядел в сторону посиделок, выходя из бытовки подышать. Но зависть была не гложущей. Будучи юношей хотя и не стеснительным, но скорее замкнутым, я не любил компании и сызмальства предпочитал обществу людей обществу героических портретов. А в профессорской берлоге были книги. Целые полчища книг! Как дед умудрился их все сюда притащить, уму непостижимо. Среди этих томов отыскались такие памятники древности, каких прежде я не встречал ни в школьной программе, ни в нашей домашней библиотеке. Я читал быстро, жадно, все подряд.

В бытовке жилось уютно. В помещении стоял большой письменный стол, заваленный книгами, бумагами и с обязательной железной кружкой. В кружке чаще всего была простая вода. Наполненная трехлитровая канистра стояла всегда на полу в самом прохладном углу. Павел Георгиевич обыкновенно сидел за столом, что-то непрестанно стуча на клавиатуре массивного ноутбука. Он часто курил. Выходил на порог, вставал на узкую металлическую ступеньку, потом молча возвращался за стол. Кроме стола, имелась кровать — узкая походная койка. Для меня на ночь ра-

скатывался старый ватный матрац. По углам на гвоздях и крючьях висели гроздья белья и одежды, а под ними — на длинных деревянных ящиках — горы книг.

Единственную настольную лампу дед отдал мне, обходясь в темное время суток любуясь из монитора голубоватым светом. Я установил лампу на табурете в изголовье своего лежбища, которое ежеутренне скатывал в рулон и ставил в угол, иначе в вагончике совсем не оставалось места. Электричество в лагерь подавалось от генераторов, стоявших поодаль.

Дверь и три окна в трех обитых сайдингом стенках никогда не закрывались. Днем, правда, это не помогало от жары. Зато по ночам из-за москитной сетки слышался усыпляющий звон цикад. И то и другое создавало вокруг мир, плотно сплетающийся вокруг, будто вторая кожа.

Ежедневно я купался в море и в душ почти не ходил. За день я покрывался коркой соли, затем пылился в шурфах и вновь смывал солью пыль. Профессор был с головой погружен в свою работу. Глядя на мое неторопливое существование, он тревожился и пылал праведной яростью фанатика.

Надо сказать, меня соблазнила возможность побывать на море, которого я до сих пор не видал. Представления об античном мире в то время у меня были весьма смутные. От участия в общем плане я хоть и не отлынивал, но и особенного рвения не проявлял. Увлечшись Гомером, я никак не мог соотнести настоящую работу с приключениями Одиссея. Древнегреческая культура оставалась для меня литературным феноменом. Об истории мира легче думалось на берегу, у вечных вод, чем среди полуразрушенных непонятных мертвых глыб.

Если бы мне сказали, что мы копаем Трои, возможно, энтузиазма бы и прибавилось. Но Троя была давно раскопана, а нам оставались какие-то осколки. Постройки до сих пор не были точно датированы. Архитектурный план и даже назначение поселения установить пока никто не брался. Самой крупной археологической находкой оставалась одна расколотая пополам метопа с изображением битвы древних воинов, да и то не вблизи нашего участка. Обломок статуи. Бронзовый клинок. Мне они ни о чем не говорили. Я не верил в надежды, дух которых носился вокруг меня. Но, маскируя свой скепсис, усердно ковырялся в пыли в положенные часы. Профессор часто повторял — должно поддерживать веру, чтобы иметь понимать нудный труд.

— Веру узнаешь по жару, — говорил он, — как от пули. Раскаленный жидкий металл внутри. Было бы больно до одурения, если бы не было так сладко. Это как любовь.

Образ вызывал уважение. Но по факту ничего похожего я не чувствовал, даже когда кто-то из бригады отыскивал улику существования здесь эллинов — черепок с частью истершегося рисунка или старинную монету. Всякий раз мы, сгрудившись, подолгу рассматривали сокровище. Но вместе с радостью рождалось и разочарование. Шепот свидетелей прошлого был слишком тих.

Сам я ничего не находил. Мне не везло, и от этого досада моя увеличивалась. Внутренне я отвечал деду — мол, у меня другой жар, может быть, и от других вещей. Тишина, звезды, книги — это по мне. А вскрывать слой за слоем, искать неизвестность, ждать намека времени для того, кто не влюблен в археологию, — мучительно! Я страдал. Любовь? Да на кой черт мне любить ваше, когда у меня есть свое! Что я так отчаянно присваивал себе, я и сам не знал. И потому на дедовы выпавы молчал.

Огромные квадратные и прямоугольные участки разной глубины прилегали вплотную друг к другу и занимали половину площади предполагаемого комплекса. Повсюду виднелись остатки древних фундаментов в очень плачевном состоянии.

Впрочем, еще год назад это место считалось и вовсе пустым, как мертвая ракушка. Первые плиты, как рассказывал Павел Георгиевич, нашли еще при царях. Долго считали их останками оборонительных укреплений одной из множества мелких крепостей. Но обнаруженные до моего появления, в мае, фундаменты подтвердили дедовы убеждения. Он искал полис. Богатый эллинский полис. Четвертого или пятого века до нашей эры. И он верил в плодородность этой ветви античного мира. Вот уж у кого веры было в избытке.

В то утро надо мной привычно металась молния стрижей. Я только что испил соленого чая и ощущал во всем теле бодрость. Волосы еще не успели просохнуть после рассветного заплыва. Стрижи чирикали, как заведенные. А я, то сидя на корточках, то стоя на коленях с лопаткой в руках, пребывал во власти земных тревог. Вскидываясь время от времени, вытирал пот со лба и глядел на неутомимые стайки над головой.

Тридцать человек молодняка Павел Георгиевич раскинул по десятку на участок. Я и мои товарищи копались в глубоком, метра два вниз, и широком, около сорока метров по периметру, квадрате, окруженном рассыпавшимися основаниями стен дома или заграждения. Почву нужно было взрыхлить, изъять крупные твердые куски, выложить в брезентовые переноски, похожие на мешки с затягивающимся узлом. По мере заполнения переноску поднимали с помощью лебедки. Потом комья тщательно просеивались.

Я ковырял землю в углу одной из траншей. Время от времени скребок упирался во что-то твердое. Я расчищал уплотнение кистью, прежде чем скovyрнуть. Всякий раз уплотнение оказывалось куском породы. Рядом старательно пыхтел соратник Ромка, из «столичных». Он был младше меня на год, но обладал усердием, которому позавидовал бы любой сидящий на зарплате землекоп. Ромка был из тех, горящих. Он знал об античности все и, вероятно, владел какими-то неведомыми мне приемами извлечения праха истории. Дело у него продвигалось споро. Горка земли рядом с нами быстро увеличивалась.

Ромка поочередно вставал то на одно, то на другое колено, отключивал зад и скрючивался коромыслом. А потом вдруг вскочил, ловко выкарабкался из траншеи и объявил:

— Я нашел! Тут целая скульптура! Эй!

Голос его дрожал. Наверху показался студент Игорь, которого ребята звали Буквоедом, вероятно, за очки и умный морщинистый, несмотря на молодость, лоб. Через минуту Буквоед уже спустился вниз по выдолбленным в земле ступеням. Он шел к нам, протягивая руки, как в молитве.

— Только аккуратно, только аккуратно, — говорил он.

Нас быстро окружили еще остальные. С нетерпеливым любопытством старалась разглядеть предмет волнения. С трудом удерживаясь от комментариев и советов, приглушенно гудели голоса. Буквоед прорвался к Ромке. Я стоял рядом, все еще ногами в траншее, а головой примерно на уровне икр толпы, и видел, что Ромка, словно испугавшись, сделал шаг назад. Одной рукой он протягивал, как щит перед собой, небольшую, высотой сантиметров тридцати-тридцати пяти, мраморную статую полубоженного юноши. Ногами юноша упирался в кубической формы постамент, а локтем левой руки облокотился на перевернутый на бок сосуд. Через плечо, закинутая на согнутый локоть второй руки, струилась вниз мраморная драпировка. Точно такое я не раз видел на картинках в дедовых фоллиантах.

— Дионис! — прошептал Буквоед. — Но что у него с лицом?

Прежде чем Ромка отдал фигуру инструктору, я заметил, что на лице божества зияет блистательно белый, свежесбитый треугольник. Красивый мраморный

нос Ромка сжимал в кулаке второй руки и теперь протягивал его вслед за обладателем. Бедолага, он отбил его одним алчным ударом стеки, и теперь сдавленные рыдания готовы были вырваться из его истерически вздымавшейся груди. Возбужденная толпа затопталась на месте. Буквоед поднял статуэтку над головой и провозгласил помилование.

— Роман Високосный — герой!

Рома Високосный потупился. Красные пятна на щеках говорили о том, как ему жаль отбитого носа. И все небезосновательно подумали о том, что взбучка от Павла Георгиевича нам обеспечена.

— Куда теперь его отправят? — спросили.

— В Эрмитаж, не меньше! Уа-ха-ха! — загоготал Буквоед. — Это прорыв, ребята! Уа-ха-ха! Это прорыв! Надо показать профессору! Идемте!

Тут он глянул на Ромку. Повертел в пальцах нос, пожеывая губами.

— Реставраторам пригодится, — сказал он. — Ничего, парень. Хорошо, голова цела.

По толпе прокатился хохот, и мне показалось, что все они сейчас взлетят ввысь, как воздушные шарики, вырвавшиеся из неумелой руки ребенка. Шарики уплыли, гомоня, за горизонт. Внизу остался я один и в совершенной тишине. Только стрижи продолжали весело носиться туда-сюда. Человеческие открытия им были неинтересны.

Не знаю, почему я не пошел вместе с ребятами. Я тоже был немного взволнован и, наверное, просто хотел побыть в одиночестве. Но тут взгляд мой упал на вспаханный участок, и в голову пришла неожиданно дерзкая мысль. Не то чтобы я вдруг понадеялся отыскать немедленно что-то еще. Помню, я подумал, что все великие находки прячутся в земле подобно грибам — поблизости друг от друга, целыми грибницами, как букетами, опоясывая земной шар. Сначала я бесцельно стал водить ромбической плоскостью лопатки, сгребая мягкую землю в сторону. Потом опустил на колени и стал грести землю настойчивей.

То ли моя уверенность и интуиция сыграли роль, то ли злость на свои неудачи оказалась праведной, но вдруг металлическое ребро споткнулась обо что-то твердое. В мгновение мне представился изуродованный Дионис, я похолодел и в испуге отбросил грубый инструмент. Подождал, пока не выровнялось дыхание, взялся за щетку. Осторожно стал смахивать ею песок.

Я расчищал тщательно и долго, наверное, миллион лет. С меня сошло семь потов. Но из-под земли наконец полностью вышел квадратный, точь-в-точь похожий на Дионисовый, мраморный постамент. Если это тоже фигура, непонятно было, в каком она положении.

Во мне разлился жар, и походил он скорее на целую торпеду внутри, чем на пулю. Или на осколок бомбы. Осколок с шумом колотился о грудную клетку, но никто, кроме меня, конечно, не мог его слышать. Боясь повредить неведомое изделие, я стал подкапывать его руками снизу. Почва оказалась на удивление пышной, словно не давил на нее никогда груз множества почвенных слоев. В нетерпении, едва сдерживаясь от резких движений, я взялся рукой за верхний край куба и стал понемногу его раскачивать, одновременно разгребая песок по сторонам. Внезапно порода расступилась, как Чермное море пред жезлом Моисея, и я достал ее на свет божий.

О, этот милосердный акт откровения! О, эта податливая радость открытия! Я продолжал крепко держаться пятерней за постамент. Поднял добычу чуть выше уровня глаз и медленно развернул ее с ног на голову и лицом к себе. Жар из груди бросился в шею, уши, щеки, веки и лоб.

Это была Афродита, и я мгновенно узнал ее. Она предстала передо мной полностью обнаженная, совершенно не поврежденная ни временем, ни твердью. С не-

обыкновенной грацией, лишенной какого бы то ни было кокетства, она опиралась на одну ногу, а вторая, согнутая в колене, была заведена назад. В их сведении стыдливо выступал треугольник лобка. Маленькие округлые груди и живот с аккуратным пупком посередине были чуть припорошены желтыми пылинками. Гладкое лицо обращено к крохотному мраморному яблоку, которое богиня держала в тонких пальцах.

Никогда прежде я не видел обнаженного женского тела, кроме как на картинах. Женщины для меня, как и для любого юного мальчика, представлялись одновременно тайной и запретом и одновременно презирались мною и страшили меня. О любви я не ведал, о пошлости не помышлял. В ту минуту открылось мне нечто, что навсегда легло фундаментом чистой чувственности на все мои будущие взаимоотношения с прекрасным полом, и я буквально ощущал, как строится этот фундамент в моей голове — кирпич за кирпичиком. Камень за камнем. Камень страха перед хрупкостью. Камень восхищения мастерством творца. Камень осознания чистой красоты.

Но тогда я этого, конечно, не думал. Тогда я просто наслаждался пробуждением от тошного сна вчерашней скуки и удивлялся так, как никогда больше не удивлялся в своей жизни. Я стоял на коленях и любовался совершенными линиями, округлостями и впадинами. Дрожащими пальцами провел по ним всем, чувствуя прохладу отполированного мрамора, казавшегося мне почти живым. Время замерло. Обнаженная перед ничтожеством мира истина, теперь тебя обрел и я..

Наконец минуты побежали в своем обычном направлении, я поднялся на ноги и направился к вагончикам, прижимая Афродиту к груди, как младенца. Неподалеку все еще гомонила наша группа. Наверное, они уже сдали Диониса и теперь обсуждали свои впечатления и надежды. Захотелось укрыть свою драгоценность понадежнее. Я ускорил шаг. Совершенно точно, что мой клад куда ценнее Ромкиного инвалида. Но дело не в том, что в моих руках оказался не конкурентный ни с чем в мире идеал. Дело в том, что... разве понял бы меня кто из них? А если бы понял, не лишил бы он меня этого необыкновенного чувства, проснувшегося вдруг во мне, будто дитя в колыбели!

Я прошел мимо толпы, от волнения то и дело сглатывая слюну. Никто не обратил на меня внимания. Профессор встретил меня в дверном проеме двери бытовки. Сложив на груди темные от загара руки, он ждал, пока я подойду с таким видом, словно уже все знал. Я заробел. Остановился перед ним, как перед монархом, решающим нашу с Афродитой судьбу.

— С-смотри, — сказал я, заикаясь, и протянул фигуру, — смотри, что я нашел.

Павел Георгиевич немедля принял у меня статуэтку и плотноядно стал ее разглядывать.

— Не ты, — сказал он вдруг. — А мы, Юра. Мы нашли.

Горящий осколок из моей груди наконец выпал на землю, подняв клубы песчаной пыли. Из дедовых красных обветренных ладоней богиня в последний раз улыбнулась уголком мраморных губ и исчезла. В ту минуту сумрак бытовки показалась мне царством мертвых, а сам Шептунов — не менее чем Аидом, его царем.

Дионис и Афродита — две скульптуры, очевидно выступавшие в паре во владениях какого-то богатого элина, — остались главными находками того сезона. Были и другие фигуры, но ни одной целой больше не сохранилось. По крайней мере, я о них уже не услышал. Вскоре я уехал из лагеря. Павел Георгиевич оставался там, пока не начались дожди.

К зиме, когда раскопки вновь приостановились, он тоже вернулся в наш холодный стеклянно-каменный город. Но и в тот год, и в последующие я продолжал

видеть деда крайне редко, и поговорить нам так и не удалось, да я и не стремился. С возрастом впечатлительности во мне изрядно поубавилось. И все же я часто вспоминал свою Афродиту. Не могло быть сомнений, что обе фигуры были переданы в какой-нибудь музей, хотя мне так и не довелось разузнать об их дальнейшей судьбе. Я даже пытался отыскать их в Эрмитаже.

Компенсировали ли Дионису Ромкину оплошность, я тоже не знал.

Уже будучи взрослым человеком, я пытался сравнивать живых подруг с работой гениального резчика. Признаться, сходств, которые до сих пор вдохновляют мое воображение, в живых телах я никогда не находил. Но не однажды воскресал в душе моей тот неугасимый жар, тот осколок. Он поднимался из пыли моей жизни и дерзко тянул меня за собой в небесные выси. И я вновь и вновь с непередаваемым трепетом убеждался, что стоит непоколебимо во мне храм из волшебных кирпичиков — радость восхищения, смирение перед целомудренностью совершенства и трепет перед его хрупкостью.

С женитьбой и рождением детей благодаря этим основам я открыл для себя вселенскую гармонию Творца. Но однажды этой гармонии было суждено опасно покачнуться и лишит меня неприличной мужчине наивной мечтательности.

Дед к тому времени проживал за городом, на выделенной институтом даче в известном ученому миру поселке. Мы не видались много лет, и я только слышал изредка о его новых достижениях в необозримых просторах археологии.

У меня было незначительное поручение от матери. Снедаемый любопытством, я приехал один. Павел Георгиевич встретил меня на пороге уютного домика, окруженного буйным садом. Профессор постарел и как будто уменьшился. Борода его пожелтела, а на носу сидели очки с несильными минусовыми диоптриями. Но, как и прежде, он выглядел отчаянным жизнелюбцем.

Я не собирался вспоминать свои подвиги. Тем более у меня не было цели искать Афродиту или расспрашивать о ней. Каково же было мое изумление, когда в ожидании чая я прохаживался по зале и, подойдя к причудливо оформленному камину, обнаружил ее — с невозмутимой одухотворенностью взирающую с каминной полки в наш иллюзорный мир. Она стояла среди тусклых и бесполезных сувениров, фигурок, ваз и вазонов, ни одна из которых не могла сравниться с ней ни в древности, ни в красоте. Отшлифованные бедра ее светились все той же целомудренностью. Мраморная прическа не растрепалась за годы разлуки. Нежная и печальная одновременно улыбка все так же таилась в складке губ.

Я замер, прислушиваясь к глухим ударам своего сердца.

— Юра, иди пить чай, — донеслось из кухни.

По выражению моего лица Павел Георгиевич, видимо, догадался, что я приметил результат хищения государственной ценности. Борода его ошетижилась, а из уголков глаз за диоптриями расплзлись лукавые морщинки. Всей своей позой он выражал уверенность в себе. Это была его добыча. А я снова был всего лишь четырнадцатилетним мальчишкой...

Уходя, я старался не глядеть в сторону камина.

## ЭДЕЛЬВЕЙС

Легко было обознаться. Капитан Яхонтов Роман Авдеич в свое время был грозой роты. Здоровый и крепкий, как молодой бык. Перед ним трепетали и опасались его, чуя какую-то недобрую, нечеловеческую мощь. Он был дьяволом во плоти... Сумасшедший. И красавец.

Мужик на боковом, наискосок через один отсек, напоминал сдвигшийся футбольный мяч — худой и дряблый. Он сидел спиной к Косте. Дважды поворачивался — когда подавал билет проводнице и когда принимал у нее стакан с чаем. В проход выставлялся горбоносый профиль, и с подкатывающим чувством дурноты Костя узнавал — он. Потом мужик отворачивался к окну, и свалившаяся седина на затылке говорила — не он.

Ночью Костя тщетно пытался уснуть. По потолку проносились полосы света от фонарей, стоящих на страже вдоль рельс, по которым мчался, ускоряясь, поезд. Ту-ду, ту-дук. Ту-ду, ту-дук. Ту-ду, ту-дук, ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду...

Золотые полосы света, льющегося из щелей в шиферных крышах. Шифер накалялся, внизу расстилались дурманящие запахи экзотических трав, фруктов и овощей. Худенькая, невысокая, как ребенок, девчонка торговала здесь, в окружении пышнотелых товаров. Полукровка или даже на три четверти русская. Если бы не одяние, какое было принято у взрослых аборигенов, можно было принять ее за девочку-подростка. Темные серьезные глаза. Кожа с медным оттенком, матовый блеск. Волосы собраны под платок, даже в жару.

Он дослуживал свой последний месяц. База располагалась в палаточном лагере возле одного из предгорных поселений. Война, считай, окончена, и скоро домой. Тишина и воздух — как на курорте. Командование что-то решало или ждало, солдаты скучали в блаженном ничегонеделании. Развлекались воровством абрикосов, а кто поотчаяней, и стрельбой по бродячим псам (которые в деревнях после войны собирались в целые стаи). На сельском рынке разжигались паленой водкой и самогоном.

Девчонка появилась недавно, раньше ее не было, или сержант не замечал.

Все его существо словно ждало ее. Он даже придумал себе, будто видал во сне точно такую девушку, воспринял свою фантазию за знак и тотчас решил познакомиться. Но вот беда — не знал, как подступиться. Хотя в университете недотепой никогда не слыл, даже напротив.

Студентом он носил очки, однокашники уверяли его в сходстве с одним знаменитым писателем, имевшим интеллигентное лицо и пенсне. Писатель покуда не помог нисколько, зато помогла военная кафедра — в армию он ушел с погонями, и сейчас это должно бы помочь: молодые девчонки падки на погоны больше, чем на изящества всякого рода. А сержант был изящен по-мальчишески, с крепкой шеей и выпуклыми плечами. Ему было двадцать лет. Но он не знал, как подступиться.

Со своими аккуратными горками овощей она приютилась в дальней стороне рынка. Сержант прохаживался не спеша, как бы прицениваясь, а сам поглядывал в ее сторону. Черные бабы в халатах опасно косились на шатающегося туда-сюда молодца. Он покупал ненужный чеснок или другую мелочь и все приближался к ее ряду, но потом разворачивался и уходил ни с чем. Так происходило изо дня в день целую неделю.

Она, конечно, скоро заметила его. Для сержанта настало время тонкой, приятно будоражащей кровь игры. Ловя взгляды, она обильно краснела и опускала глаза. Но можно было заметить с трудом сдерживаемую улыбку. И тогда он поправлял портупею и начинал вышагивать гусем, пытаясь рассмешить ее, пока не засекал чей-то настороженный взгляд, и тогда тушевался и старался как можно неприметней ретироваться.

Но однажды девчонка не выдержала и, не успев отвернуться, прыснула, прикрывая рот ладошкой. Сержант обнажил все зубы разом. Чтобы отвлечься, ей пришлось начать перекладывать свой товар из одного ящика в другой, изображая работу.



На следующий же день он отважился прийти на рынок с букетом полыни. Пахучие цветки ее напоминали русскую мимозу. Она приняла, понюхала, чихнула и, рассмеявшись в голос колокольчиком, чихнула еще. Гомонящие бабы заткнулись и неодобрительно посмотрели в их сторону. Она вспомнилась, спрятала аллергенный веник под прилавок, оглядываясь, будто зверок.

— Меня Константином звать.

Сержант протянул девушке мгновенно вспотевшую руку для пожатия.

— Аня, — прошептала Аня и вложила в его ладонь помидор.

Он вскочил, едва стало светать. Вагон просыпался, крихтел, бормотал. Костя успел в умывальню прежде, чем собралась очередь. Возвращаясь, поглядел украдкой в сторону давешнего пассажира. Тот сидел, упершись локтем в стол, подперев рукой щеку, и покачивался всем корпусом в такт движению поезда. Похоже, он спал сидя.

В Костину часть Яхонтов прибыл неожиданно, месяца за два до его увольнения и за месяц до появления Ани. Никто не знал, откуда он и зачем здесь, и выяснить не пытались. Он сразу явил себя наглым, грубым человеком. Слава лихого бойца, впрочем, несколько украшала его. Поговаривали, будто на войне он с самого начала — выходило едва ли не половину Костиной жизни. Некоторые знавали капитана в прошлом и утверждали, что в бою он неистощим и яростен, как раненый гризли.

— Кто не сталкивался с капитаном Яхонтовым, тот не знает, что такое настоящая злость, — говорили знатоки.

Почти постоянный «градус» сильно усугублял это, столь неприятное в мирное время качество, но капитану многое сходило с рук. Все знают, что на войне звереют быстро, искренне. И огненную воду здесь уважали, а способность к большим объемам ее потребления почиталась за доблесть. Рассказывали еще, будто жена от него ушла из-за этого.

— Ну! Ур-роды. Кто не за капитана Яхонтова, тот пр-отив него, — орал он на солдат.

Днем он заставлял их грузить бочки с бензином, потом увозил эти бочки куда-то и привозил новые, чтобы перебросить их через день-два в другие машины и снова увезти. Кого держал за бездельников, мог заставлять переставлять бочки с места на место. Иногда отряд часами бессмысленно маршировал по плацу под его рывканье. У капитана был устрашающий принцип: незанятый солдат — мертвый солдат.

— Ну, без пяти безголовые! Живее! Что почем, а здесь вам не санаторий. Р-р-расслабились, с...

Он ненавидел покой, тишину и все время орал, «нукая» при этом и «рыкая», или отпускал свои дурацкие присказки, щедро снабжая речь матом. Его старались обходить стороной, этого «шизанутого» капитана.

— Кто не за нас, тот против нас! Только трусы греют жопы в окопах! Ты должен любить команду «вперед», как бульдог любит команду «фас»!

Его ненавидели все, кроме начальства. Чем он там их подкупал, неизвестно. Когда капитан уезжал, а уезжал он часто и надолго, наступали дни праздника.

Свистнули тормоза, состав дернулся и стал. Костя подхватил рюкзак и заторопился к выходу. Но мужик вдруг поднялся прямо перед ним. Зябко поеживаясь после дремы, подцепил с крючка коричневую вельветовую куртку и начал старательно всовывать руки в рукава. Тут он повернулся и оказался лицом к лицу с Костей. Маска озабоченности медленно трансформировалась в маску высокомерия. Он распрямил спину и на миг сделался тем самым капитаном Яхонтовым, только теперь одного с Костей роста. А когда-то сержант смотрел на него снизу вверх и видел богатыря.

Но капитан, а теперь Костя не сомневался, что это он, странно отвел глаза и вновь принял вид немощного старика. Он тяжело осел на свое место, пропуская Костю к выходу.

На дальнем конце платформы, где остановился их последний в составе вагон, было безлюдно. Костя вдохнул теплый порывистый ветер белых ночей, которого не знал всего неделю и уже забыл. Он был одет в просторную футболку. Летний плащ висел, перекинутый пополам, на ремне рюкзака. По обнаженной коже предплечий проскользнул резкий порыв ветра и прокатилась волна мурашек. Порыв был холодным, он донес запах гнилой воды из каналов. Погода грозила испортиться.

Из беглого рассказа Ани сержант знал, что родственников, кроме деда, нет. Под его крылом тихо, не высываясь, она и жила. Даже соседи не все знали ее по имени, что удивительно для небольшого села. А недавно дед захворал, и ей пришлось взять на себя и огород, и дом, и рынок.

Она мечтала уехать отсюда в Россию. Она хотела учиться.

Но уехать было трудно и раньше, а теперь, когда слег дед, совершенно невозможно. Старик почти не вставал, самостоятельно разве в туалет мог справиться. Да и то внучка смастерила и установила что-то вроде горшка на табурете, поближе к кровати. В дворовый нужник он не добрел бы. Оставлять последнего в роду старика доживать век в одиночестве — бесчестье, говорила она.

Дед — долгожитель. К тому времени ему уже исполнилось сто лет. Половину огромной семьи, всех, кто был до него, старик схоронил еще до первых сражений. Вторую половину проводил воинами или похоронил сиротами. Четверо Аниных братьев, отец, мать, дядьки и кумовья — всех пережила дедова глыба. Осталась одна внучка. Война шла так долго, что девочка не помнила мира.

Он думал: русское имя Анна ей совсем не идет. Она не была красавицей, но очаровывала особенной в девушках ее возраста беспомощностью и чистотой. Она была как лань, отовсюду ожидающая опасность. Сжималась от звука мужского голоса, хмурила густые брови, старалась не поднимать глаз. Но если уж смотрела — то прямо, пронзительно. Сержант покрывался мурашками с ног до головы от этого взгляда.

Такой бы танцевать под луной среди синих гор, в белых одеждах, в золоте и жемчугах, а не торговать на рынке, страшась всякого — человека, человекозверя ли. Как это возможно среди такого запустения? — благоговейно недоумевал сержант. Как возможна — она?

— Ну, здравствуй, сержант. Еще раз, как говорится.

Костя вздрогнул и обернулся. Яхонтов настойчиво протянул руку. От неожиданности Костя пожал ее и после незаметно отер пальцы о штаны, как бы от грязи. К вокзалу, не сговариваясь, двинулись вместе. Яхонтов закурил, отплевываясь табачными крошками. Костя давно бросил и сейчас сожалел об этом. Горячие волны наплывали на него, словно он окунулся в тревожный сон и никак не мог проснуться.

Самому себе сержант не мог бы сознаться, что влюблен. Но все в отряде знали о его увлечении. Однако шила в мешке не утаишь — любил подкалывать его товарищ, грузин Зураб. Из армии он потом ушел с такими же, как у Кости, погонями. Одну удачную операцию, когда бывший их командир был ранен, а солдат Зураб отличился, помнили все, кто знал Зураба. Это стало легендой, одной из многих.

С Костей они прибыли на войну одновременно. Дружба завязалась в грузовике, везущем их с приграничной станции в полную мрачных слухов неизвестность.

У грузина было веселое лицо, и он как никто умел отвлекать от пустого и ненужного, что мешало собраться и идти в бой. Тогда еще были бои...

Он оказался настоящим товарищем, этот смешной грузин. Всегда угадывал настроение человека и никогда не отлынивал от участия, будь то минута слабости или смертельная опасность. При этом он сохранял независимость, но никогда этой независимостью не кичился. То было какое-то внутреннее одиночество. Смирение, похожее немного на религиозность. Костя верил, что он таким и остался. Но после армии они, как ни странно, никогда не встречались. Зураб жил далеко и контактов не оставил.

— Зачем, — сказал он. — Всякая дружба для своего часа.

Костя часто вспоминал Зураба, хотя вообще воспоминаний о том времени не любил. Но его друг был настоящий воин, на таких всегда можно положиться, такие вызывают желание подражать.

Отправляясь в увольнение, Зураб набирал заказы, и они шли. Иногда вдвоем, иногда брали с собой кого из солдат. В тот день стояла жара, середина августа, ослепительно сияло небо. Яхонтов куда-то уехал, и кто-то сказал, что его не будет до завтра. Сержант и Зураб планировали обернуться за час-два.

Мучительно стыло сердце. Костя помалкивал, грузин нес на лице как вытесанную из камня улыбку. Шли по дороге, привычно осматривались по сторонам, то и дело поправляя автоматы. Грузин трепался о ерунде. Костя мысленно благодарил за тактичность.

Тем временем дорога свернула в небольшое ущелье, за которым должны были показаться первые дома. Даже не ущелье то было, а просто скалы, скальчики, предвещающие настоящие горы. В долине кривой широкой лентой вдоль укатанной грунтовки растянулся аул.

Взгляды ползли по камням, и вдруг сержант зацепился глазом за белое пятно посреди почти отвесной стены. На высоте трех-четырех метров белел, как оброненное на адовы уголья перо ангела, цветок. Чистый вздох в опостылевшем пейзаже.

— Стой! Жди здесь, — сказал сержант.

— Чего там? Эй, чего, слышишь? — засуетился тот, хватаясь за оружие.

— Момент, друг. Не дергайся, я сейчас! — крикнул он.

Но лезть по голому камню не так просто. Цель маячила недалеко, но через пять минут уже казалась недостижимой. Уцепившись руками за хлипкий уступ, как за надежду, сержант искал опору ногам, находил, когда пальцы уже готовы были сорваться, пауком лип к скале.

— Эй, эй, аккуратней! Ты тут как на ладони, — кричал снизу Зураб.

Он уже видел цель сержанта. Но автомат не выпускал из рук, стоял на страже, хотя оба знали — сейчас это, скорее всего, лишнее.

— Давай скорее, птичка влюбленная! Дрозд ты мой певчий! Дурак дураком!

Спустя минут десять измочаленный усилием герой, держась за скалу, остановился передохнуть. Он задрал голову, и зелено-белый кустик поприветствовал его с расстояния полуметра, клонясь к красному от натуги лицу человека, беспечно покачиваясь на ветру. Желтые корзинки соцветий, как маленькие копии счастливого солнца, смеялись над Костей и радовались его маленькому подвигу. Осталось протянуть руку.

Эдельвейс — цветок-одиночка. До сих пор сержант знал его только по иллюстрациям в учебнике биологии и не мог предположить, насколько этот дикарь соответствует своей славе. Одинокий и самодостаточный, он жил здесь, наверное, веками, то распускаясь, то увядая и распускаясь вновь. И никакие сражения ему нипочем, и ничьи грешные судьбы и бесплодные надежды его не волнуют, потому что он

ничего не признает, кроме ветра, солнца и дождя, дарующие жизнь, рост, нетронутую целомудренность. Это был самый необходимый сейчас цветок.

Он сорвал сокровище и сумел спустить его вниз неповрежденным.

Как ни в чем не бывало двое зашагали к поселку, переговариваясь о чем-то постороннем.

— Уверенно шагаете, товарищ капитан, — сказал Костя на пороге вокзала.

До сих пор они шли молча.

— Тут рядом есть закусочная, — откликнулся Яхонтов. — Может, зайдём? Обмоем встречу, как говорится. Куда спешить... Отвоевались. И в миру, как говорится, тоже. Ты как? Временем обладаешь? Я-то один, гол как сокол.

— Вообще-то я тороплюсь, — сказал Костя.

— Ну! Погоди ты. Столько лет, столько зим. Как бы нам с тобой, а? За встречу-то. Святое. Ну. Ты как хочешь, сержант, а надо.

Вошли внутрь.

— А ведь было дело, — продолжал Яхонтов, — я же чуть до майора не дошел. Ну да это история долгая. Что тут у нас? Нет, не то... Надо, пожалуй, выйти. Здесь нам спиртного не продадут. Говорят, прижимать стали нашего брата. Ни почета, ни уважения, как говорится. Законы их — ни к черту законы. На сидорову козу законы.

Костя размышлял, как бы слинять поудобнее. Метро должно было открыться через четверть часа. Утро разгоралось на глазах. В высоких полуарочных окнах сверкнул солнечный луч. И тут же угас в набежавшей туче.

Утро быстрое, стремительное, пахнет росистыми травами и бахчами с окраинных огородов. День, если покоен, пахнет пылью дорог, абрикосами и собачьей шерстью. Под конец войны их развелось немало. Монотонно стрекотали сверчки-партизаны. Мягко наплывал полдень. После заминки с эдельвейсом пришлось ускорить шаг. Рыночная площадь располагалась в центре поселка.

— Ты, это, давай, друг, иди, а я пока к тетке Фариде загляну. Фруктов найду или чего повеселей.

Зураб загадочно подмигнул. Фарида была местной поставщицей гашиша, который Зураб добывал сослуживцам. Спиртное чаще всего брали тоже у нее. Сорокапятилетняя Фарида, широкая хмуробровая женщина, была вдовой. Она не жалела солдат и хамски выторговывала всегда больше, чем позволяла здоровая совесть, но зато ни в чем никогда не отказывала. При большом желании у нее можно было разжиться и кой-какой бытовой информацией. Зураба она, однако, неизвестно за что привечала больше других. Наверное, за белые зубы.

— Вот бы разжиться девушками на пикничок, — ехидно помечтал Зураб. — Кстати, ты свою подружку тоже приглашай. Я не буду против. Местные девушки горячие, говорят.

— Заткнись, — с досадой сказал сержант.

Зураб шутил. С девушками тут было туго. Но и мысли сержанта были заняты одним помыслом — подарить, пока не увял, цветок, который с таким трудом добыл. Бархатные лепестки щекотали и дразнили руку. Другого такого он не найдет, это как пить дать. И другой такой ни за что не сможет полнее выразить его отношение к Ане, совершенство которой он страшился унижить даже намеком. Он мог мечтать, как поднимет ее на руки, будто хрупкий сосуд, и уложит на белоснежную, хрустящую постель. И она испугается и скажет: нет, нет, не надо! Но он бережно опустит ее на простыни и скажет: милая, любимая... «Я буду охранять тебя, —

думал сержант. — Милая, любимая, я никогда не обижу тебя». И он мечтал, как будет сторожить ее сон.

Но Ани на рынке не оказалось.

— Не домой же к ней идти... — с сомнением сказал сержант. — Да я и не знаю, где ее дом.

— Ты чего! Погоди. Я же за фруктами собрался. Заодно и... Тебе же сама судьба подмигивает, — и Зураб подмигнул сам. — Мы, что ли, не разведчики?

Он исчез в рыночных рядах, а минуты через три вернулся с координатами Аниного жилья. Ловкач.

— Фарида не откажет, — похвалился Зураб.

— Ты что творишь? Кто тебе позволил? — зашипел сержант. — Только последний болван стал бы тут допрос устраивать! Ты же подставил ее! Что они подумают? Болван! Идиот!

— Да не кипишись ты, — сказал Зураб. — Зато адресочек есть.

Дом оказался на другом конце села. Довольно приличный, как ни странно, для одиноких девушки и старика дом. Глиняные беленые стены были чисты, без единого скола или дырок от пуль. Все стекла целые, сверкают чистотой. Аккуратный цветник под окнами. Небольшой сарайчик справа, слева — беседка из виноградных лоз, пышно увешанных недоспелыми гроздьями. Огород, видимо, позади строений.

Остановились возле колонки рядом с хатой, побрызгали холодной водой друг другу на горячие черные шеи. Скрывая волнение, сержант подошел к двери, постучал. Никто не ответил. Сержант толкнул дверь, и она, чуть скрипнув, на сантиметр отворилась вовнутрь. Зураб стоял, широко расставив ноги, сложив на груди руки. Когда сержант замаялся и обернулся, ободряюще кивнул, блеснув лошадиными зубами.

— Я прикрою.

Он решил дальше прихожей не соваться, только лишь окликнуть в глубь жилища. Сдвинул автомат на спину и вошел, держа перед собой цветок, как щит, от волнения крепко сжимая стебель в кулаке. После яркого уличного света он мгновенно ослеп и остановился в растерянности. Ни сенец, ни прихожей, как это обычно бывает в русских деревенских домах, не оказалось. Костя понял, что попал сразу в жилую комнату. А когда чуть прозрел, отшатнулся назад. Но было поздно.

Капитан Яхонтов бесцеремонно сдвинул Аню к неровной стене. Растирая толстыми пальцами заспанное лицо, встал с тахты. Видимо, он прилично надрался, потому что, поднимаясь, споткнулся о собственный ботинок и пошатнулся, выпрямляясь во весь свой могучий рост. Одежды на нем не было никакой.

Живот у сержанта скрутило, под висками горячо забилося — будто пуля пролетела в миллиметре от головы. Где дед? — мелькнула мысль и с размаху врезалась в наглухо закрытую дверь во вторую спальню. Живописными пятнами полыхнуло на сером полу небесно-голубое и темно-зеленое — сплетенные в ком так знакомый ему хлопковый женский халат и мужская военная форма. Там же, на полу, валялись автомат и кобура с пистолетом.

Аня в страхе прикрылась первой попавшейся тряпкой вроде покрывала. Волосы, намного темнее, чем торчащие из-под косынки выгоревшие пряди надо лбом, растрепались. Он, не моргая, смотрел и видел, как, загораживая девушку горой мышц, приближается, будто в замедленном киноэпизоде, голый капитан Яхонтов.

На самом деле прошла секунда, как Яхонтов приблизился. Он дыхнул свежим перегаром, вздернул свой орлиный клюв и втянул ноздри. Сержант почувствовал себя юнцом, Тимуром без своей команды, который попался на благородном, но нечаянно нелепом поступке. В ту минуту он ненавидел себя-юнца не меньше, чем своего соперника.

— Это что? — рывкнул Яхонтов.

Он зыркнул на букетик, который сержант до сих пор сжимал в кулаке, поднятном к самому подбородку. Маленький и нежный, казался он столь же лишним здесь, как и сам недавний покоритель гор.

— Редкое растение. Наиредчайшее, — просипел сержант. — Эдельвейс называется.

— Ах ты, с..., — спокойно сказал капитан, не спеша повернулся к Ане, как бы собираясь произнести удивленный монолог или спросить: неужто этот сопляк принес цветы тебе, женщина? — а потом неожиданно развернулся и в развороте с размаху ударил сержанта в челюсть, и он отшатнулся, ударился спиной и головой о косяк двери, не удержался на ногах и припал на одно колено, словно комедийный рыцарь в комедийном поединке. Дверь со скрипом распахнулась. Эдельвейс выпал из рук.

Аня пронзительно взвизгнула и кошкой забилась в самый угол своего постыдного ложа. Сержант успел заметить, как беззвучно разевается то ли в крике, то ли в судорожном вздохе ее детский розовый ротик.

Яхонтов все еще безуспешно пытался наладить беседу. Вспоминал какие-то несуществующие события, имена. Все в его голове, казалось, перепуталось, как в старом заброшенном амбаре. Он говорил бестолковой скороговоркой и казался больным на голову. А может быть, он всегда таким был? Костя только теперь заметил, что речь капитана лишилась «рыканья» и что от него разит чем-то вроде аммиака. Он болен? А может быть, и вправду двинулся, или это обычное стариковское? Хотя — Костя быстро посчитал в уме — сейчас ему должно быть не больше пятидесяти.

Он тогда расквасил ему нос и рассек бровь одним ударом. Добивал ногами. Лучше бы убил, думал сержант в порыве отчаяния. Лучше бы убил. Или я бы убил. Или лучше бы я...

На шум прибежал Зураб. От мощных ударов сержантское туловище врезалось в стену. Обрушилась полка с посудой. Грузин влетел стрелой, с оружием наизготовку. Замер на пороге в смятенном ужасе. Лицо товарища показалось ему кровавым месивом. Махровые звездочки эдельвейса размазались по полу и перемешались с каплями крови. Капитан, кажется, ничего перед собой уже не видел и не чувствовал, с выпученными глазами он нещадно пинал сержанта босой ногой, а тот, шипя и закрывая голову рукой, силясь подняться, свободной рукой одновременно стараясь дотянуться до кобуры.

— Никто. Никогда, — хрипел капитан. — Мое. Моя. Убью.

Пальцы на ногах у него оказались как железо. Зураб схватил друга и выволок его на двор. Сержант не сопротивлялся, обмякнув вдруг, как овощ, сначала погруженный в кипяток, и после вынутый из него на холод. Яхонтов не преследовал, то ли исполнившись очевидного превосходства, то ли устав. Дверь хаты осталась распахнута.

Зураб отволок сержанта в часть.

— Молись теперь, чтоб он спяну лиц наших не разглядел, — сказал он.

Но это было маловероятно. Такой закаленный тип, как Яхонтов, мог пить галлонами, шататься, но оставаться при своих известных всем способностях — расчетливом уме и фотографической памяти.

Левая сторона лица сержанта распухла, один глаз заплыл. Несколько дней он провалялся на койке, прислушиваясь к пульсации в отбитой груди. Фельдшер роты налепил на бровь, нос и губу по куску пластыря и заключил:

— Заживет как на собаке. Даю неделю.

Солдаты отнеслись с пониманием. Постыдное и необратимое поражение сержант переживал, закупорившись в себе, как ракушка. Зураб приносил в жестяной кружке разбавленный спирт, пытался вытянуть из него хоть слово. Но сержант выпивал молча, благодарил кивком головы. Поднимался в столовую, на построения и в сортир.

Яхонтова видели по-прежнему нечасто. Наглый, самоуверенный, как и прежде. Когда появлялся в части, орал на всякого, кто попадался под руку, и так узнавали о его появлении. Он был похож на возбужденного после удачной драчки ротвейлера. Но свои грозные обещания относительно сержанта выполнять не спешил и вообще не цеплялся ни к нему, ни к Зурабу.

Нетрудно было догадаться, чья это забота. Но от догадок делалось еще муторнее.

Возле бюста русскому царю, установленному посреди огромного помещения зала ожидания, Яхонтов сбавил шаг, словно решал — спуститься в подземку или выйти на площадь к наземному вестибюлю. У лестницы с буквой «М» на притолоке толпились ожидающие открытия. Костя тоже замедлил ход, но, не останавливаясь, пошел по направлению к выходу на площадь Восстания. Ободрившись, капитан перешел к неловкому психологическому наступлению.

— Да что я все о себе. У тебя-то что почем, сержант?

— Все живы, слава богу.

— Ну! Мать, отец? Здоровы?

— Не жалуются.

— У тебя же родня вся тут, под крылом, как говорится?

— Да, — неопределенно ответил Костя.

— Дети? Жена?

Костя промолчал, злясь. Он вдруг задался вопросами, ответ на которые лежал не рядом с капитаном, и с тоской взглянул на полицейских возле рамок металлоискателей, на входящих пассажиров с необъятными чемоданами, которые они тяжело закидывали на ленту рентгена, на мелькающие туда-сюда тяжелые входные двери. Там было его спасение от навязчивого призрака прошлого.

Сквозь бульканье репродуктора, в котором улавливалось сообщение о прибытии поезда, слышался продолжительный раскат грома. А ведь когда шли по платформе, тучи едва виднелись на фиолетовом небе. За окнами сразу потемнело, будто погасли театральные прожекторы перед представлением. Начиналась гроза.

Он вспомнил: в ночь перед дембелем тоже шел дождь.

С дня столкновения сержант не выходил из части. Изнывал в казарменной духоте, пил отчаянно, что приносили другие, потом спал крепко и долго и ел бы за троих, давали бы в скудной столовой тройные порции.

Прошло две недели. Яхонтов по-прежнему его игнорировал. Сержанту сделалось все равно. Или он сам себя в этом убеждал. В доказательство собственного равнодушия к жизни он даже перестал считать дни до отправки на родину.

Однажды он просто получил приказ собираться. Солдаты, с которыми предстояло возвращаться, оставили его одного после долгих уговоров «отметить». Потом часть из них ушла в поселок, часть рыскала по лагерю, собирая своих, возбужденно суетясь. Он остался один. Покидал в дорожный мешок тряпки и снова улегся на свое место. Сердце ныло. Наивный дурак, идиот, — ругал он себя. И тут же хотелось плакать, как маленькому. Потом делалось стыдно, и он начинал ненавидеть ее,

его, Зураба — за то, что видел эту мерзкую сцену и что оттащил, и весь этот чертов мир, так славно поиздевавшийся над его нелепым порывом.

Завтра должна прийти машина, которая отвезет его на вокзал.

А вечером разразилась гроза.

Время близилось к отбою. Солдаты вернулись и отдыхали в одной из палаток. Куда-то запропастился Зураб. Наверное, «прощался» с ними. Руки и ноги сержанта затекли. Впервые за несколько часов захотелось выйти наружу.

На улице тоже никого не было. Поодаль только чужие парни разгружали бочки с приехавших недавно грузовиков. Силуэты мелькали под вспышками молний, а потом пропали. По строевой площадке одиноко шлепали тяжелые частые капли дождя.

Небо, вязкое и мокрое, то и дело раздражалось оглушительным треском. Лезвия молний вспарывали мрак, дальние вспышки сопровождалась громом, навязчиво подходящим на звуки далекого боя. Непогода обещала установиться надолго.

Он поднял воротник гимнастерки, в шипящей ливневой мгле пробежал прямо по грязи до соседней палатки, где хранились дрова для кухни и где почему-то горел электрический свет. Устроился под навесом на деревянном чурбане, закурил. Края тента трепало ветром. Пахло бензином, потом, портянками, сырой глиной. Брызги дождя попадали сюда тоже. Лампа, привязанная на перекрестии опор, болталась во все стороны, отбрасывая на брезентовые стенки шевелящиеся тени. Уголек папиросы приходилось прикрывать рукой.

До отправления оставались часы, а ни о родном городе, ни о родных вспоминать не хотелось. Будущего не существовало. От мыслей тошнило, как и от табака. Он выбросил окурочек и поднялся. И тут из темноты неожиданно вынырнула Аня. Шла, освещая себе путь карманным фонариком, прямо на него и как будто не замечала.

На ней было что-то вроде обвисшей телогрейки или ватника. Не по плечу, мужская. Но он сразу ее узнал. Из-под бесформенного одеяния торчала юбка, подходящая больше на половую тряпку. На голове — платок, промокший и бесполезный. Она шла, тяжело переставляя ноги в кирзовых сапогах с налипшей на подошвы грязью.

Необыкновенная, как из другого мира, здесь, посреди грозы и дождя, в солдатском быту. Ничего, что могло бы ей ответить взаимностью, здесь не существовало. Как эдельвейс на камнях. Жизнь, ничего не знающая о боли, страхе и войне. Трогательные тонкие ноги, торчащие из широких голенищ, а лицо — светлая беспристрастная планета. Сержант сразу и тысячу раз пожалел обо всех дурных эпитетах, что успел ей выдать в последние дни.

Войдя в раскачивающийся желтый круг света, Аня бессильно опустила руку с фонариком, подняла голову и улыбнулась, словно встреча ее не удивила.

— Здравствуй, Костя, — сказала она.

— Аня!

Он подал ей руку, она оперлась одними пальцами, шагнула под навес.

— Как ты здесь?

— Не ожидала встретить кого-то в такую погоду, — сказала она так, будто пребывание ее в части было само собой разумеющимся. — Знаешь, Костя, я уезжаю. В один приморский город. Там есть университет. Роман Авдеич уже все устроил. Буду работать там, а может быть, со временем и выучусь. Роман Авдеич обещал и дедушку со мной переправить... Костя, ты поверь, я не просто так... Он ведь только с виду такой... И он меня не обидел ни разу. — Она словно извинялась. — Костя, ты ведь его давно знаешь, не то что я... — она запнулась, но все же решила: — Как ты думаешь, Роман Авдеич — честный человек?

О Боже! О Боже! Зачем ты меня об этом спрашиваешь?! Он хотел закричать: «Дура! Дура!» Но вместо этого получилось неуклюжее:



— Ты чего здесь под дождем-то шляешься?

— Так, ищу, — сказала она, видимо, разочарованная тем, что он не оставил безответной ее откровенность.

— Что же ты ищешь?

Задумавшись, она прошла, села на чурбан, где только что сидел сержант. Из-под платка выбилась прядь. С волос капало на юбку.

— Не знаю сама. Тоскливо что-то и страшно мне, Костя. Будто не доеду я, пропаду. Чувство такое у меня...

Какая же она маленькая еще. Боже! Боже! В чьи руки ты отдал ее? Чувство страшной несправедливости, и ревность, зеленоглазое чудовище, и пережитое унижение, все вместе готово были вырваться, излиться на этот нежный цветок, причину ненавистных эмоций. Он хотел уколоть, сказать резкое, смутить или обидеть, только чтобы она не досталась Яхонтову, этой железобетонной сволочи, бессовестной, бессознательной машине смерти. Он никогда не сумеет оценить ее преданности. Бархатный цветок на холодном камне... Уничтоженный, растоптанный, растрепленный, растленный. И вот — лишен первозданного своего естества. Будто ограблен. И будто ограблен весь мир.

— Костя, а ведь я тебя искала.

Аня подняла лицо. Она улыбалась, но что-то в ее лице показалось сержанту иным, чем прежде. Какая-то строгость. Или печаль, прячущаяся за вымученную улыбку.

— ...Раз уж сегодня я тут оказалась... — донеслось до него. — Я хотела попроситься с тобой. Ты, говорят, тоже уезжаешь. Еще раньше меня. Это хорошо, что так.

— Кто? Кто говорит?

— Рома... Роман Авдеич.

У сержанта защемило сердце.

— Он... Он честный, — сказал он, давя в себе вопль. — Тебе не нужно беспокоиться.

— Спасибо тебе, — с чувством сказала она и поднялась. — Костя, я вижу, ты хороший человек. У тебя все должно быть хорошо.

И еще она сказала:

— Прости меня, пожалуйста.

И пока она уходила обратно в слякоть и мрак, ему делалось все нестерпимей стыдно. За нее, за себя самого, за всю эту войну, в которой она выросла и которая отняла у нее право выбирать свою жизнь самой, за дождь, за налипшую грязь на неподъемных кирзачах не по размеру, за мокрый капитанский бушлат на худых плечах.

Потом он жил некоторое время у матери, ни с кем не разговаривал и никому никогда ничего не рассказывал. Мать откармливала его супами и сочными жареными бифштексами так, что скоро его ошипанное войной тело скоро обросло мышцами и рельефом стало не хуже яхонтовского.

Из вернувшихся следующим дембелем знакомых о русской девушке и старике горце никто ничего сказать не мог. Рассказывали, что Яхонтова вскоре перевели в другую часть. Уезжал он, конечно же, один.

— По-чесноку, неприятна встреча или что? — в голосе старого капитана послышались жалобные нотки. — Или не ожидал просто? Ну. Я тоже. Чего-чего, а свидание хоть куда... Специально не придумаешь. Да, брат, бывает и...

— Брат? — перебил Костя. — Давно ли?

Он остановился. Почувствовал, что вот-вот сорвется и тогда... Его окатила волна безразличия, словно проглотил гусеницу.

— Товарищ капитан, мне пора, — сказал он.

— Не надо это... товарищ капитан...

Яхонтов дернул плечами. Костя сделал движение уйти, и тут капитан бесстыдно удержал его за локоть.

— Я ушел из армии. Как война окончилась, так и уволился сразу. Приболел я. Дурной болезнью. Ну. *Cherchez la femme*, как говорится, *cherchez la femme*. Ба, да ты, я гляжу, серьезно в обидке до сих пор. Напрасно, — он облизнул губы. — Но погоди... — вдруг ядовитая ухмылка расплылась на его лице. — Не за нос же разбитый ты это... того... Или так уж девка тебя зацепила? Мать твою за ногу! До сих пор, что ли, в обидке? Дак ведь сколько зим, как девка тью-тью, война, че переживать-то. У меня она сотню братанов забрала и — жену, считай, тоже. И ничего, не обижаюсь... А у тебя все живые, сам говоришь, все здоровые. Так что давай, кто прошлое помянет, как говорится...

Огромный кулак сгустился в пространстве и ударил под дых. Костя силился и не мог вдохнуть, губы его посинели.

— Она погибла? — выдавил он.

Яхонтов непонимающе посмотрел сквозь Костю. Щеки с царапающей взгляд щетиной вздрагивали, будто в тике. Торопящийся люд недовольно обходил их, то и дело задевая, словно намеренно. Они стояли возле самого выхода. Яхонтов сделал шаг в сторону, увлекая Костю.

— Ты не знал, что ли? — он ухмыльнулся. — Их же свои и мочканули. Ты же еще уехать не успел. Она тогда несколько ночей у меня жила, в части. А-а, ты и тут не в курсе. Дебил ты, сержант... Я ее забирал иногда вечером, утром отвозил. Но она ж бешеная какая-то стала в тот вечер, последний раз я с ней якшался тогда. Зарекся. Походила, позыркала, че там у нас да как. А потом давай и ляпни, мол, не поеду, и все. Бойтся, мол, она. Ну и чего? Я ей в поверенные вроде не набивался. Я ее выпорол, чтоб не бродила где не надо. А с утречка отправил, как говорится, восвояси, своим ходом. Ну. А ее там уже ждали. Может, и давно ждали... Дед остыть успел. Кто, правда, так и не узнали. Мышлачи какие-то. Да что искать. Бандюги — они и есть бандюги. До поры до времени по подвалам сидят, а иной раз и обнаружатся некстати. Ну. Жалко, конечно. Они ее как стукачку вроде, хотя че с нее взять было, не пойму. Слухи ходили, видать. Ну. Не угодила. А мы таких геройчиков много побили. Что почем, а в последние деньки тоже горяченького хватало... Да что ты, сержант, как квашня стоишь! Ты че! Было б о чем жалеть. Она же шлюхой была. Я ее даже раз полковнику возил. Ну. Он ей билет в Россию обещал. Да не выгорело... Так ты что, правда не знал? Во дает! Дебил, че говорить.

Бледный как мел, Костя стряхнул капитанские шупальца со своего локтя.

На площадь он вышел один. Зигзагами, как под обстрелом, и сильно размахивая руками, устремился в противоположную от метро сторону. Дождь лил как из ведра. Прохожие, толкаясь черными зонтами, обходили, как им казалось, пьяного.